

Улыбающаяся спина

«Are you alone?»: после ночи полной миражей, дверей, косяков, этот вопрос заставил её не на шутку задуматься. В любой другой день, в любом другом городе, она поняла бы этот дежурный вопрос к милой девушке, в слишком узких джинсах и со слишком широкими зрачками, ровно по назначению, но Амстердам сразил её воображение настолько, что вместо этого, она услышала Глас небес, пророчески резавший многоязыкую толпу : « Задумайся, дитя, одна ли ты в этом мире?» И, сраженная снайперским попаданием в её сокровенные и насущные страхи, с самым серьёзным и покаянным видом, она стала ломать свой псевдоанглийский в попытке ответить. Когда она уже почти решилась поведать об отверженности среди самых блазких, о демоне и учителе одиночества, и о том, что толпа самое пустынное место на свете, лик таинственного гласа наконец был нащупан её трепещущим взором. Но вопреки ожидаемого, её встретили сияющие оправы круглых очков, запрятанные между душистых дредов и растерянная улыбка. Этот невероятный гибрид хиппи и ленинградского интеллигента-мулата, вытянул её на поверхность реальности, словно удивлённый пузырек со дна ила тянучих бессонных мыслей. Филлипе оказался продавцом свистуллек. Уругваец, мечтавший учиться в Европе, приехавший с 200 долларами в кармане и за 5 минут устроившийся жить к торговцу наркотиками – вероятно, ординарная история для Амстера, но воображение москвички было сражено наповал. Однако тело от повалов отказалось, и они стали, как бы это обозвать, чтоб не обидеть дружбу смешанных полов (что и так стоит на грани мифа и яви)? В общем, они стали общаться, – почти круглосуточно, почти касаясь, слишком громко смеясь, слишком тихо прощаясь.

Он привык к легчайшим победам и такого же веса проигрышам. Если таковые вообще случались с этим бронзовым болтуном, застрявшим между нежным мальчишкой, даже не догадывающемся об очаровании своего внезапно вытянувшегося тела, и мужчиной, играющим своим обаянием, мышцами, просто от радости жизни, от радости приручать, пользоваться и наполнять эту жизнь наслаждением. Но совсем не это, вернее не совсем это, открывало ему объятия любой тусовки, любого кошелька, сыпало косяки, стаканы и женские тела: улыбка, пропитавшая даже его одежду, как пот, как запах благовоний, запутавшийся в его нераспутываемых волосах. Улыбка, не в 32 американских белых, не в пол- французских узких, не русская – скобками к низу, готовая в секунду превратиться в оскал, и не восточная нитка – читай между глаз. Улыбка растворенная в каждом грамме его крови, в каждом миллиметре кожи, в каждой их тысяч мышц. Улыбка, с миллионами оттенков, переливающаяся как стены Гауди, – то битыми черепками надежды, то солнечными зайчиками желанья, то тусклым блеском битого зеркала печали. Улыбались руки, улыбался каждый длинный, прямо для клавиш, палец, и, наконец, она не могла даже представить такого (при всем своем траченном травой и вином воображении) – улыбалась даже спина! Длинная, дельфинья, она излучала радиацию расположения. Прилагались ли к этой улыбке остроумие, тонкая

ирония, эрудиция? – её английский, к сожалению, был слишком юн и неопытен, для таких нагрузок, но грело даже его молчание, мило-неловкий жест разгонял корявые облачка непонимания. Куда-то пропадали минуты и мысли.

Однажды её «инглиша» не хватило на слово intantion (намерение), прозвучавшее в его очередном осторожном вопросе о её отношении к нему. Нет словаря? – не беда! Час ночи? – не преграда! Последний трамвай догромыхал их с заброшенного пляжа в квартал красных фонарей.

Вот местечко! Такое ей не могло присниться ни в одном заснеженном столичном сне. Первый заход, случившийся в еще в том амстердаме, где не было даже тени Филлипе, привел её в замешательство, граничившее с помешательством. Когда она уже привыкла к кукольно-узким домишкам, свесившимся над каналами, унизанными лодками-квартирками как старинная ёлка, где каждая игрушка – история семьи; когда она смирилась с грудями велосипедов (говорят – дно каналов на метр поднято их откуролесившими трупами); перестала сворачивать голову на славных тётенок в банковских туфлях, лихо звенящих железными звонками чуждым машинам, не выпуская милого косячка из блестящих губ – только всё это улеглось под её светлой чёлкой, как в окне ничем не примечательного дома, вместо цветочков и ангелочков, также уютно запестрили плёточки, кнутики, дубиночки – всевозможные резиновые игрушечки для скучающих, но страстных дам, без тени стеснения, точно любопытные детки, выглядывали из окон сквозь подвязки, трусики, и даже то, чему она не только не знала названия, но и применения не представляла. К горлу подступил комок: город без занавесок – и так слишком большой вызов для затравленного соседями россиянина, чей дом если не крепость, то хотя бы тайная нора, куда уползают оттоптанное в метро, а тут то, что у нас запрятано в дальние районы за глухую надпись «Интим», эти, межканальные травники выставляют прямо в сердце своего Содома! А дети? А старики? Кстати, про стариков – ответ она получила практически сразу, зайдя в один из таких наивно-неприкрытых вертепчиков. Милая, уже давно опытная парочка, ворковала над сборищем всевозможных шлепалок, дуршлячков, мухобоечек. Почтенный муж, приквив глаз точно опытный рыболов, взвешивал в руке нечто, явно занимавшее воображение его столь же солидной подруги, которая, заметив её округлившийся взор, взяла из его рук Это и с улыбкой подружки помахала сим, буд-то призывая разделить радость их, такой необходимой в интимном быту, находки.

Но, вернёмся на улицу. Выйдя на свет и продышав эту пасторально-эротическую сценку, через несколько таких же домиков-выставок, она увидела первую «ласточку». Уже не важно, кто это был: чёрная мама, ждущая утешить своих белых сыновей, девочка в купальнике с вишенками, припрыгивающая под музыку наушников – «Эй, я – твоя школьная подружка, хочешь, послушаем вместе?» Холодная славянская принцесса, с таким хрустально-иконописным лицом, и телом, которое даже не представить среди обвисшей черноморской

массовки, что хотелось спосить: что ты делаешь здесь, почему не журнал Vogue, почему не постель олигарха, почему не салон самолета, на худой конец??? А вот и невеста, училка, бизнес вуман, бейби-гёрл – все роли, все мечты, все размеры. Конечно, самые дорогие и манящие – в самом центре квартала, а на хвостах переулков в окна глядели неприкаянные пустые лица женщин, забывших свой возраст, а может уже и имя.

Ей хотелось бежать с этого бала наготы и оценивающих взглядов, от этих нечистых серых теней, предлагающих виагру, экстази, – любой поднимающий ассортимент. Но вдруг, всё это вывернулось просто театром. Театром погоревшей страсти, любовного абсурда. И, с жадностью исследователя новой планеты, она потерялась в этих лабиринтах судеб, костюмов, улыбок, ужимок, уловок. Кто они? Кто она? Могла бы она – гордая, честная стеснительная чистюля, стоять в этой рампе, зовя потных мальчиков и стареющих отцов на маленький постыдный подвиг?

Туда и привёз их ни о чём не подозревающий трамвай. «Оставь свою жену, отхни от неё с нами, красавчик!»: кричали они её лёгкому спутнику. «Зачем мы тут?» – её вопрос вызвал очередную серию искорок смеха. «Ну, подумай, где еще можно найти ночью русскую, для перевода нашего intention а?» И, действительно, из одного окна он выманил ладную хохлушку, которая знать не знала по-аглички, зато поствятила меня в секреты своего нелёгкого «лёгкого» труда. «15 мин = 150 евро. Из них – 5 мин – «привет, как зовут? А меня...» 5 мин.... потерпишь. Можно не снимать верх, если не настроена, целовать – тоже по желанию, обнаглел – в соседней комнате крепыш, решающий эту проблему в пол-пинка. И на последок, 5 мин прощанья. За лето – на зиму хватит! Оставайся у нас на районе, с твоим личком девочки-мальчика просто ног не сложишь!» Не сложилось... и она даже не думала жалеть об этом!

Жалела она совсем о другом. Уже вернувшись в свой обетованный спальный район, она с тоской, отзывавшейся ноющей болью между лопаток, жалела о том, что не может, вот прямо сейчас, лежать в одном купальнике, покусывая край бокала, накупавшись, накружившись среди таких же, накусавшихся, сладко пахнущих морем и винным потом. А напротив, на таком же диванчике, будут лежать две: чёрная и белая, изгибающая бёдра в капельках солнца, а под рукой будет смеяться, нашедший тысячного друга Филлипе.

Странная идея посетить зоопарк, полудостроенный, полузабытый людьми и зверями кусочек земли, рассечённый решётками, пришла им одновременно. Толи вино было слишком рано, толи клубы – слишком просто. И вот, они уже у вольера с огромным орангутаном.

Мрачный, по-кавказски серьёзный, волосатый самец, увлечённо поедал с пола нечто, что уже, вероятно, побывало в его желудке. Занятие поглощало всю его мощь, занимало всю силу его интеллекта. Сказать, что они смеялись... Да они рыдали и, сквозь слёзы, пытались объяснить, направляющимся к этому зрелищу, что это не для детей, не для взрослых – только если они тоже слегка животные. И вот, сквозь слёзы, они увидели её – маму всех, как им рассказала уборщица. Эта самка самой человекоподобной

обезьяны была самой умной в зоопарке (и может быть, судя по её всезнающим глазам, не только среди обезьян). Она прибирала и воспитывала всех брошенных детёнышей: однажды ей принесли щенков – воспитала, как родных и этих, беспалых уродцев.

Она смотрела прямо на них, прямо в них глазами всепрощающей усталой женщины. Смеяться больше не хотелось. Хотелось помолчать рядом с её молчанием. Почему она за стеклом, или это они за стеклом? Сколько она понимает, сколько свободы ей досталось? Что мы сделали со своей свободой?

И вдруг, она поднесла своё, налитое шерстью тело так близко, что стали видны все морщинки на её пальцах, вокруг апельсином улыбающегося рта, между серьёзных кожаных надбровий. Не знаю что подняло её руку и положило на стекло, но это что-то тут же расположило и её огромную пятерню точно по контурам девичьей ладони. Самка подняла голову и заглянула ещё глубже в неё, туда, откуда выглянуло её, давно забытое, прирученное десятком тысяч лет животное.

Сколько прошло времени, знают только они – эти две самки, понявшие друг друга с первого и последнего взгляда.

Танцы! Так танцуют только полукровки, только их тела знают как стучит ритм вместо ударов сердца, как звенят пальцы на плече, передавая колебания струн. Мало движений, а больше и не стоит, иначе уже невозможно думать: где ты?, Кто ты?, Что дальше? Прямо там, среди музыки и окурков рождается это марево движений, секрет известный только венам, переполненным кровью. И опять, им совсем не смешно, совсем не страшно, совсем не стыдно, но песня улетела и улица тащит подальше от лёгких измен и тяжёлых последствий.

Утро выхватило и выбелило их лица у пруда под надписью «I'msterdam». Чайки-супруги упорно обсуждали что-то в воде, а может быть спорили: искупаться, или еще слишком холодная вода, а может смеялись над тем как неловко её уругваец передразнивал их семейную возню. И она опять, в миллионный раз за эти 5 дней, смеялась, а он вдруг замолчал. Сел у её коленей как, обретшая хозяина, продрогшая длиннодредовая собака. Заглянул снизу и улыбнулся так, что ей стало невозможно понятно: это последнее, совсем, навсегда последнее утро их содней. «И что я буду в этом городе без тебя? А можно в Москву? Я там замерзну? Можно там продавать свистульки на углу? Ты там другая? Есть ещё такие как ты?»

«Конечно! Конечно. Конечно... конечно нет...»

Улыбка посерела, растворилась в этом белом утре, в холодной воде, по которой уже степенно заскользила парочка с параллельными клювами. И первый раз она почувствовала, сколько одиночества за этой улыбающейся спиной, без спины, без семьи, дома, страны, работы, профессии, денег, наверно любви, наверно дружбы, – даже язык его никто и не пытался узнать.

Кот, разлёгшийся поперёк гостиничного коридора, наверно не понял бы, не пропустил бы её посетителя, да ей и не хотелось удивлять

ни этого ночного полосатого консержа, ни своего сердца, ни своего тела, случайным слишком близким прощанием.

Он пришел позже, когда она уже уговаривала свой, распухший от европейских даров чемодан, перевалиться через последнюю ступеньку. И опять простодушный трамвай, звеня и переливаясь красными боками, потянул их, так и не заснувших, так и не проснувшихся, в последнее, довокзальное путешествие.

Смотреть только в окно, считать только окна, велосипеды, лодки, деревья, - что угодно, только не остановки, не минуты. Пальцы паучками переползали от складочки на одежде, до холодной пластмассы сиденья, пока не наткнулись на такие же холодные, чуть дрогнувшие его. Как губы нашли друг друга в этом смятении ненужных вопросов? Как смогли отпустить эту улыбку, перетекающую теперь уже зримо- осязаемо, туда, откуда чуть позже сорвётся безнадежное: -«до встречи»? Лучше ли было променять красные фонари, чёрно-белые бедра барных красавиц, танцы, музеи, чаек, заброшенный зоопарк, на что??? Без этого, вместе просмотренного фильма, лёгких, почти неуловимых шажков навстречу, разговоров на неизвестном полужестовом суржике, загадок, вопросов, - было бы это тем, что приоткрылось им в том единственном трамвайном порыве, в том касании дальше губ, глубже языка? Или закончилось бы ответом, который так просто прочитать на утреннем невооружённом ещё ни косметикой, ни, даже простой вежливостью, лице?

Стали бы её пальцы так нерешительно и нежно подрагивать, глядя сигарету, застывшую на пол-пути, от губ, в который раз пробовавших на вкус эти вопросы, как тот поцелуй, разделённый полуоборотом пластиковых сидений? Или она вспоминала бы только ненужную измену с ненужно красивым, непростительно юным, уже не ей улыбающимся, незнакомцем? Кто знает, кто вспомнит?... Но, наверно ей ни когда не захочется забыть как, сев, согласно своему билету и долгу, она посмотрела в окно, уже потянувшееся за Москвой, и увидела руку, прижатую к стеклу. И опять, как тогда в зоопарке, через стекло, бесповоротно разделившее два таких непересекаемых, если только взглядом, мира, соединились две ладони. Вот только улыбки не было - из под блестящих оправ, параллельно колышущимся от бега дредам, падали, быстро и просто, мутные кусочки непозволительной надежды, запрещённой тем, кто только путешествует по этой странной прихоти Создателя, с жёстким именем «жизнь» - им можно только улыбаться, иначе нельзя, иначе